

Юрий Садомский

Дуновения

...Весеннюю локацией засечено не зря:
Когда цветет акация, приходит скумбрия...

Это строки любимого мною поэта Григория Поженяна... Григорий Михайлович тонко чувствовал Одессу, и хоть никогда одесситом не числился, Одесса была впечатана в его душу и память, как флотская татуировка: навсегда и несмываемо. Свидетельство тому боевая юность краснофлотца Поженяна: кто видел фильм «Жажда», снятый по его сценарию на Одесской киностудии, тот понимает, о чем я...

Словосочетание «цветет акация» вызывает, в чем я убежден, эфемерный образ Одессы. Именно эфемерный, и никак иначе. Попытки зримо отразить Одессу заканчиваются весьма ограниченным набором открыточных видов: оперный театр, Дюк, Потемкинская лестница, еще два-три изображения... и всё!.. А где же то, что вызывает прилив необъяснимого и щемящего волнения при произнесении слова *Одесса*?.. Где оно?.. Оно растворено в дымке ощущений, оно эфемерно, как запах акации в период ее цветения. Понятие «красавица Одесса» будет совершеннейшим лукавством, если не иметь в виду исторический центр города. Только в порядке насмешки можно говорить о «красотах» Молдаванки, Пересыпи или еще о каких-либо районах города-легенды. Потому что легенда сия, опять-таки, эфемерна, как запах все той же акации. Так уже случилось, что белая акация стала символом Одессы, хоть это достаточно неказистое деревце с блеклыми невзрачными соцветиями, но аромат цветущей акации воистину упоителен... На акацию не обязательно

смотреть, она не красавица вроде розы или хризантемы, но ее запах пьяняще чувственен, как мечтания юности... К чему я подкрадываюсь?.. Да к тому, что запахи в нашей памяти играют порой определяющую роль.

...Уже немало лет тому ехал я в общественном транспорте, и перед самым выходом на остановке меня вдруг коснулся этот запах. В нем не было ничего примечательного, это был, скорее всего, запах недорогих цветочных духов, но он почему-то смутил мое сознание, он был связан с чем-то значительным для меня... но с чем?..

В течение всего дня меня мучил вопрос: что это было? С чем связано мое беспокойство, с какими обстоятельствами или событием? Притом, что по ощущениям этот мимолетный аромат был сопряжен с чем-то волнующе приятным... Но с чем?

Замершее на краткий срок время потекло дальше, повседневность в своих заботах, страстях и прегрешениях привычно занимала сознание, но периодически нет-нет да и всплывал в сознании тот миг, тот мимолетный, будоражащий память и смущающий душу запах чего-то желанного... но чего?!

И вот, как это нередко бывает... ночью я проснулся, как от толчка... потому что вспомнил... Боже!.. Я вспомнил!..

...Раннее послевоенное детство... детский садик в Кирпичном переулке... и ее... Она была нашей воспитательницей, я даже вспомнил ее имя – Любовь Михайловна. Имя второй воспитательницы вспомнить не могу, помню улыбчивую старушку, ласковую и заботливую. Но Любовь Михайловна... это Любовь Михайловна. Она была моложе моей мамы, я это понял, оттого что мама называла ее просто Любочка. Я боготворил Любовь Михайловну, ради нее я был готов на все, даже согласился бы проглотить вторую ложку омерзительного рыбьего жира, которым нас потчевали каждое детсадовское утро с кусочком соленого огурца вдогонку. Я торопился по утрам в детский сад, предвкушая встречу с Любовью Михайловной, даже когда у меня перед глазами вращались красные круги, а на лбу лежала влажная салфетка, сбивая жар высокой температуры, я проваливался в липкий сон, потом выныривал из него, мне мерещилось лицо Любви Михайловны, и я умиротворенно засыпал опять...



Вот мы, детсадовские дети военного разлива

...Она меня гладила по стриженной наголо головке. Она и других гладила, но меня с особенной нежностью, я был в этом убежден. У нас с ней была тайна... тайна нашей взаимной нежности. О ней, кроме нас двоих, никто не знал, и мы никого в эту тайну не посвящали.

Совсем рядом с садиком, в конце Кирпичного переулка, который заканчивался обрывами, поросшими бурьяном и кустами дикой маслины, за обрывами открывалось море... Склоны обрывов были испещрены множеством тропинок, по этим тропинкам нас водили на прогулки. Мы шли гуськом под пристальным вниманием воспитательниц, потому что по бокам тропинок в зарослях бурьяна еще оставались неразорвавшиеся мины и снаряды. Даже два подбитых танка стояли один против другого на обрывах (много лет спустя они все еще там стояли)... Когда в бурьянах виднелось что-то подозрительное, Любовь Михайловна сгребала

нас в кучу и прижимала к себе. Меня, конечно, она прижимала сильнее других, и я чувствовал, вдыхал ее запах, запах цветочных духов, запах Любви Михайловны... Потом она осторожно по очереди, за ручку каждого, проводила нас мимо опасного места.

Но как-то я пришел в садик, а Любви Михайловны не было... Она не появилась и после обеда, и после мертвого часа. Я затосковал... я не находил себе места... В конце концов я подошел к другой воспитательнице и осторожно спросил:

– А, когда придет Любовь Михайловна?

– Заболела, похоже, наша Любовь Михайловна, – она погладила меня по голове. – Придет, куда ей от нас спрятаться, поболует чуток – и придет...

Я облегченно вздохнул и принялся ждать. Прошел день, другой... третий... Она не приходила. Я был в отчаянии... Я почти не ел, не играл с детьми. Все время выглядывал в окно и за калитку садика в надежде увидеть ее, но... не было Любви Михайловны. Мое тоскливое состояние, конечно, было заметно. Вторая воспитательница не могла его не видеть.

– Деточка, – сказала она, – ты очень скучаешь за Любовью Михайловной? Почему ты ее так сильно любишь?

И тут девочка, много старше меня, то есть на целый год, ехидно сказала:

– Потому что она красивая.

Я задохнулся от возмущения и обиды. Мне стало не хватать воздуха, захлебываясь от рыданий, я выкрикнул:

– Никакая она не красивая!.. Она... она... Любовь Михайловна...

Старушка воспитательница обняла меня, успокаивала, глядя по вздрагивающей спине.

– Успокойся, мой хороший. Конечно, ты прав. Все будет хорошо, вот увидишь, все будет чудесно, и ты еще повидишь свою Любовь Михайловну.

...Но Любовь Михайловна больше не пришла. Через несколько дней в садике появилась новая воспитательница. Она была веселая и ласковая... но это была не Любовь Михайловна.

Шло время. Образ Любви Михайловны постепенно затуманивался чередой новых друзей, знакомых, всевозможных событий. И вот... спустя десятилетия вдруг выплыл из небытия чуть ощу-

тимый аромат далекого детского счастья, он пробудил память, а она вернула мне Любовь Михайловну.

* * *

Не сочтите за назойливость, но я вновь вспомню строчку Григория Поженяна:

Когда цветет акация, приходит скумбрия...

Грустная в целом для меня строчка. Она напоминает мне, что живу я так давно, что помню скумбрию, да не простую скумбрию, а скумбрию черноморскую. «Шаланды, полные кефали...» – это так... фигура речи, игра воображения, а вот шаланды, из которых рыбаки на причалах нашей одесской Отрады выносили ведра трепещущей скумбрии, я видел собственными глазами. Это были 50-е – начало 60-х годов. Потом всё!.. Финита!.. Скумбрия из прибрежных вод Одесского залива исчезла. Поговаривали, что ушла она к туркам. Не знаю, в те годы в соседнюю Турцию вход нам был заказан, как, впрочем, и в другие заграницы. Но не в заграницах счастье, а вот завтрак, состоящий из сваренной молодой картошечки, посыпанной укропом, салата из огурчиков и помидорчиков, зеленого лучка, молодого чесночка и положенной поверх картошечки качалки жареной скумбрии – вот это было счастье, а если это священнодействие завершить чаем с раздавленными в чашке вишнями, и к нему бутерброд с маслом и брынзой, то это уже – восторг...

Скумбрию, как и другую морскую рыбу, приносили на продажу прямо нам во двор, те же рыбаки с причалов Отрады, благо дом наш находился совсем недалеко, на Пролетарском (ныне Французском) бульваре, 12, именовался он Дом специалистов, недалеко, по тому же Пролетарскому бульвару, находились Дом железнодорожников и Дом консервщиков. Построен наш дом был, как я потом выяснил, в 29-м году, и все подобные дома получили впоследствии название «сталинки».

Так вот; слышались периодически во дворе возгласы:
– Рыба! Свежая рыба! Дами, свежая рыба! Скумбрия!

Приносили не только скумбрию, приносили и глоссу, и камбалу, и бычков. Бычки были самой дешевой рыбой, и покупали их в основном любители ухи и на прокорм кошек... Приносили рыбу в специальных рыбацких корзинах, которые назывались почему-то *баяны*. Торг начинался, что называется, сходу. Хозяйки прямо с балконов, либо высунувшись из окон, оживленно интересовались ценой, просили приподнять рыбу для лучшего обзора, пробовали сбить цену. Затем сами хозяйки или их детишки спускались вниз к торгующим с мисками или кастрюльками (целлофановых пакетов в помине не было) и в обмен на деньги получали рыбу.

Но не только рыбаки посещали наши дворы. Раздавались порой выкрики:

– Стари вещи покупайм!..

Окончание слова «покупаем» проглатывалось, но тем не менее было ясно – прибыл старьевщик, дабы купить изношенные до дыр вещи. Точильщики ножей, ножниц и ножей для мясорубок, неся через плечо точильный станок с ножным приводом, также были нередкими гостями наших дворов, как и лудильщики с призывным кличем:

– Паяй-починяй-кастрюли-ведра-примус-самовар!..

А порой в наш двор осторожно, как бы крадучись, приходил очень пожилой и очень худой человек. Через плечо у него висела старая, потемневшая от времени шарманка с облупившейся, в прошлом яркой краской. В одной руке он нес шест, служивший подставкой для шарманки, а другой держал за руку девочку лет шести. Человек был скромно, но опрятно одет, а вот на девочке было красивое платье с оборками, модные сандалики, но, главное, на ней была чудо какая нарядная шляпка с голубой ленточкой.

Мужчина останавливался всегда на одном и том же месте, снимал с плеча шарманку, ставил ее на шест-опору и начинал крутить ручку. Раздавалась нежная, несколько заунывная мелодия. Девочка стояла рядом, положив подле своих сандалий пустую расписную коробочку из-под леденцов монпансье. Когда раздавалась мелодия, девочка начинала петь. Пела она звонко, но монотонно и тоскливо, похоже, не осознавая смысла того, что пела. Мелодия оканчивалась, но мужчина продолжал неподвижно стоять,

глядя в одну точку, вернее, на балкон и окна одной и той же квартиры... А девочка собирала мелочь, брошенную сердобольными жильцами, и складывала ее в коробочку из-под монпансье. Затем мужчина вновь крутил ручку шарманки, девочка вновь начинала петь на тот же тоскливый мотив, но вроде как с другими словами.

Я попросил маму дать мне деньги, чтобы одарить музыкантов. Она поспешно, почему-то пряча глаза, дала мне мелочь и тут же ушла в соседнюю комнату, и, как мне показалось, всхлипнула. Я не стал бросать деньги с балкона, а сбежал вниз и сам положил их в коробочку из-под монпансье. Девочка глянула на меня, улыбнулась и, взявшись за подол платяца, сделала книксен и тем же звонким голосом сказала: «Благодарю вас, мальчик». Я смутился, отбежал в сторону, спрятался за дерево и стал наблюдать...

Мужчина еще постоял немного, глядя в одну точку, потом снял с шеста шарманку, взял девочку за руку, и они неторопливо пошли...

Этот шарманщик с девочкой вносили в жизнь нашего двора какую-то непонятную мне тревогу. Соседки шептались у своих подъездов, и лица у них становились скорбными.

Я смотрел вслед уходящему мужчине с шарманкой и девочке в нарядной шляпке. Они уходили, окутанные какой-то смутной и тревожной тайной...

* * *

Как бы ни уверяли нас материалисты, но мистика в людских судьбах присутствует. Я, во всяком случае, в это верю. И не только потому что без мистики было бы попросту скучно, а еще потому, что творчество во всех его ипостасях так или иначе связано с присутствием в нем мистических проявлений. Вспомним хотя бы факт появления периодической системы химических элементов, приснившейся Дмитрию Ивановичу Менделееву. А рождение гениальной поэзии?.. Гениальной музыки?.. Это ли не мистика? Талант всегда мистичен, в этом и есть перст божий.

Я также уверен в духовной взаимосвязи человека и всего с ним связанного, будь то предметы, которых касаются его руки, глаза, мысли... Более того, я убежден в одухотворенности окружающих человека предметов как результата их взаимопроникновения.

Я убежден, что стены жилища, его обстановка хранят духовную информацию о людях, с которыми им пришлось соприкасаться.

Думаю, не один я обратил внимание на то, как непросто находиться в залах художественных музеев, как быстро накапливается усталость при внимательном рассмотрении полотен. Полагаю, это сконцентрированная энергетика творцов-живописцев, их личностный накал наваливаются на нас, смущают душу, утомляют тело...

Ладно полотна гениев с их гигантской энергетикой, а простые ладанки или крестики, или амулеты, надетые на шею сыновьям либо возлюбленным... Как помогало прикосновение к ним, ощущение их в критические минуты, когда решалось, «быть или не быть». Скучные атеисты скажут: суеверие все это и мракобесие. Не надо с ними спорить, не надо их переубеждать... Им тоже нелегко верить в свое неверие.

Вот держу я... вернее, едва прикасаюсь к почтовой открытке. Она очень старенькая и ветхая, она помечена 13-м апреля 1943-го года. Стоит напомнить: совсем недавно завершилось сталинградское сражение, война в самом разгаре, страшной беде с неслыханными людскими страданиями и жертвами не видно конца, еще не вполне ясно, кто кого... Не ясно?! Но вот открытка... Она прислана из Красноярска Ольгой Николаевной Благовидовой, профессором Одесской консерватории, в город Регар Таджикской ССР своей студентке Аде Садомской, то есть моей маме...

Следует сказать, что моя мама в предвоенные годы поступила в Одесскую консерваторию на вокальный факультет в класс профессора Благовидовой. Мама была уже замужем за моим отцом Виктором Григорьевичем Садомским. Но... началась война, занятия в консерватории прекратились, мама, уже беременная мной, вместе с бабушкой были эвакуированы в Краснодар, где я и родился. Но через несколько месяцев началось немецкое наступление на Кавказ, вражеские войска подошли к Краснодару, и мама с бабушкой и мной, младенцем, фактически пешком с вереницами таких же беженцев ушли через кавказские перевалы. Этот многонедельный переход, сопряженный с бомбежками, обстрелами, вынужденным купанием меня, младенца, в горных речушках с ледяной водой и многими-многими приключениями достоин



отдельного повествования. Но в конце концов мы добрались до Таджикистана, до города Регара, куда мой отец был отозван с фронта, чтобы наладить работу маслозавода. Вот туда-то, в Регар, на маслозавод, где мы жили, и пришла открытка из Красноярска от Ольги Николаевны Благовидовой, где она в эвакуации работала в театре им. Пушкина.

...Вот лежит передо мной эта открытка, ветхая, потертая, с выцветшими чернилами. Она украшена бодрой картинкой: летящие краснозвездные самолеты, несущиеся краснозвездные танки, мужественное лицо работницы... В общем, как ныне модно говорить – картина маслом. Но не эта «патриотичная пастораль» будоражит сознание и царапает душу, и даже не суровый штамп военной цензуры. А почерк. Почерк Ольги Николаевны Благовидовой – изящное, красивое правописание уверенного в себе человека. Никакой суетливости, рожденной страхом, никаких плывущих вкривь и вкось букв и строк, свидетельствующих о душевном

Минус 179а.
Доброе утро с поздравлениями! 13/12/43
на твою всеобщую пользу, что
Тыма в нашеправной надежде
политера мекка. О чем жаль, что
ты и сейчас, проку ищешь
уже подруги в тебе, о чем (вот
образно как ты истрагивает)
Тыма пока совсем очевидна?
Хорошо, у нас большие данные.
Я живу как все - надежда на
лучшее будущее, а пока работаю
просто в магазине или в
репертуара и Кемптув Две-
франковская Оперы с полярным
искусом Небольшая группа артистов
вместе с Кемптувский. Буду пере-
мешать с Лилия Коперва (она пере-
реша мурда) с Белоркка, Кемпту-
Кован, Франковская, Редмерман.
Тыма мне Желез Новогородкина
но, все же в жизни Краемурь ко-
шмем, ой же еще много или
болтуют за нее. Тыма в упрод-
но. Обаятельная много по своим
О чем боюсь будет всем другим
пошлем. Буду ой все подробно
мешать и обидно Гангре
милитаризм. У меня все Кемпту
мурда и маме. Тыма в Белоркка

Открытка, присланная моей маме в г. Ретар в 1943 году Ольгой Николаевной Благовидовой

смятении или неуверенности. Ничего подобного. Сдержанный деловой интерес профессора к своей студентке: «...пение пока совсем оставили? Жалко, у вас большие данные...». Чисто женское сопереживание пережитым невзгодам. О себе сдержанно и по-деловому: «Я живу, как все, – надеждами на светлое будущее, а пока работаю, причем в театре нет моего репертуара...». Отсутствие ее оперного репертуара – главная печаль Ольги Николаевны Благовидовой в грозном 43-м. В письме-открытке ни малейшего сомнения, что жизнь вернется в положенное русло, а это возможно только в одном случае, в случае победы...

Эта спокойная уверенность – предвестие того, что через несколько лет Ольга Николаевна Благовидова сотворит уникальную вокальную школу Одесской консерватории, ее выпускники обретут всеобщую и европейскую известность и будут блистать в лучших оперных труппах: Елизавета Чавдар, Бэла Руденко, Александр Ворошило, Николай Огренич... Список можно продолжить. Это предвестие того, что директором



Ада Садомская, солистка радиокомитета, уже моя мама



Одесской консерватории станет «наш Костенька», как называли студенты любимого директора консерватории Константина Данькевича, выдающегося украинского композитора, чья фамилия стоит в мамином дипломе об окончании консерватории, когда она уже работала солисткой радиокомитета. Последние несколько лет имя Данькевича носит Одесское музыкальное училище, в котором моя мама сорок лет преподавала вокал.

Я дорожу этой чудом сохраненной открыткой из очень уже далекого прошлого. Этому обжигающе далекому созвучны строки поэта-фронтовика Давида Самойлова:

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

